

Василий Трофимович Нарезный

Запорожец

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
В19

Василий Трофимович Нарезный
В19 Запорожец / Василий Трофимович Нарезный – М.: Книга по Требованию, 2012. – 46 с.

ISBN 978-5-4241-3349-7

Василий Трофимович Нарезный (1780—1825), автор острых, разоблачительных нравственно-сатирических романов, продолжал традиции русских просветителей XVIII века, писателей сатирического направления Новикова, Фонвизина, Радищева, одновременно он был основателем той художественной школы, которая получила свое высшее развитие в творчестве великого русского писателя Н.В.Гоголя.

ISBN 978-5-4241-3349-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Нарежный В Т
Запорожец

В.Т.НАРЕЖНЫЙ
ЗАПОРОЖЕЦ
НОВЫЕ ПОВЕСТИ

Едва взошло осеннее солнце над необозримыми равнинами моря Черного, вся Запорожская Сечь зашумела. Бесчисленное множество парода толпилось на обширной площади, пред храмом угодника Николая. Громкой звон колоколов потрясал воздух. Звук труб и лнтавров далеко расстился по ровному полю и гладкой поверхности моря.

Радостный говор народа изъяслял всеобщее восхищение.

Что ж было виною сего торжества всеобщего? Еще на заре утренней прискакал гонец с радостным известием, что войсковою атаман Авенир Булат, по весне отправившийся с отборною дружиною для усмирения хищных закубанцев, возвращается восвояси с полною победой и богатою добычей. Он просил духовенство не начинать литургии, пока не вступит в Сечь, дабы воины, столь долго лишавшиеся счастья слышать слово божие, при самом появлении в пределы места драгоценного, могли сего сподобиться, облобызать крест господен и окропиться водою священою.

С постепенным возвышением солнца нетерпение народа возрастало. То глубокое молчание, то шумные восклицания измеряли время. Наконец, с восточной стороны поднялась в поле пыль высокая; еще одно мгновение, и все увидели развевающуюся в воздухе хоругвь Запорожскую. Кто опишет радостное смятение обитателей Сечи, их крики, вопли и завывания? Но увы! прибывший с радостным известием гонец, по именному велению атамана умолчал, что этот храбрый муж, этот достойный предводитель получил две глубокие раны, одну в грудь, другую в голову. Не имея сил сам собою держаться на коне, он ехал, поддерживаемый с каждой стороны казаками; двое вели за узду унылого коня его. За ним несли хоругвь, и храбрая дружина следовала с поникшими взорами. Вздохи теснили грудь каждого, и щеки омочены были обильными слезами. Они не смели взглянуть на оставшихся в Сечи товарищей, стыдясь во взорах их встретить достойные упреки, что сами возвращаются в совершенной целости, кроме нескольких, падших на поле решительной битвы, а не умели сберечь храброго вождя своего.

Когда Авенир поровнялся с дверьми церковными, то по данному им мановению коня его остановили. Духовенство приблизилось к нему с крестами и хоругвиями священными.

Но, взглянув на бледное лицо атамана, едва испускающего дыхание, оно остановилось с ужасом. Все людство, толпившееся вокруг его, узнав причину поражения духовных, восстало, подняло вопль горестный и возрыдало. Мгновенно колокольные звоны и звуки трубные умолкли, и не было бы конца общему смятению, если бы сам Авенир не дал знака к молчанию. Глубокая тишина распростерлась; он собрал силы и - хотя голосом слабым, но довольно внятнм - произнес: "Почтенные отцы духовные и вы, дети мои, казаки запорожские! Неужели последним подвигом не заслужил я, чтобы встретили меня с веселием, как всегда встречали доселе возвращавшегося из походов? Неужели раны, атаманом вашим полученные, могут пристыдить вас при свидании с родными нам малороссиянами или безбожными агарянами? Или дорогою ценой купил я победу и приобрел корысти? Обозрите все, сочтите - и будьте веселы!

Двадцать храбрых казаков пали на месте битвы, до сорока ранены. Зато получили мы, если не навсегда, по крайней мере на долгое время, спокойствие; в плен взято около тысячи мужей, жен и детей обоего пола; отбито пятьсот коней, триста волов, бесчисленное множество овец, несколько дюжин ружей, пистолетов, сабель, дорогих ковров и связок шелковых и бумажных тканей. Посредством торга с соседними турками и татарами обратите всю добычу в серебро и золото. Десятая часть - по установлению нашему да посвятится на украшение храма угодника божия; что достанется на мою долю, если к тому времени угодно будет провидению воззвать меня к иной жизни, да будет вручено по равным частям этим четверым моим провожатым, сему старцу Вианору и этим юношам: Астиону, Эрасту и Крониду. Они же должны быть наследниками и прочего имущества, трудами моими приобретенного. Теперь уготовьте для меня одр у этих врат церковных. Возлежа на нем, я хочу услышать, может быть в последний раз, святое слово божие и помолиться благому милосердию об отпущении многочисленных грехов моих".

В ту же минуту исполнено было желание Авенира. Погребательный одр поставлен на месте назначения и покрыт ковром драгоценным. С величайшею осторожностью сняли его с коня и усадили на сем ложе. В головах стал знаменосец, имея по обе стороны Вианора и Астиона; в ногах стояли Эраст и Кронид; все воинство, бывшее с ним в походе, стало в полуокружии. Во время священнодействия глаза Авенира обращены были к небу; время от времени делал он крестные знамения довольно твердою рукою и, несмотря на раны тяжелые, кланялся низко. По окончании литургии духовенство вышло на крыльцо церковное, где, во-первых, отправлена панихида о успокоении душ воинов, на брани убиенных, потом пропето многолетие православному царю московскому, а наконец совершенно водоосвящение, и все распущены по куреням. Знамя Запорожское торжественно внесено в церковь, а одр с атаманом поднят и отнесен в дом его, стоявший близ самого храма. Там уже дожидал его славный врач Сатир (славный потому, что был один во всем Запорожье, где каждый больной лечился как знает), польский уроженец, проживавший с семейством на хуторе.

По осмотре ран и промывии оных Сатир сказал окружавшим постелю атамана: "Если бы раны были свежи, то я сейчас сказал бы, чего надеяться можно. Но как они довольно долго оставались без всякого врачевания, то будьте терпеливы до завтрашнего полудня. Мази мои спасительны и составлены по рецептам знаменитейших врачей, которые тех только не принимались пользоваться, у коих головы были уже отрублены".

По окончании перевязок Авенир объявил, что чувствует склонность ко сну, почему приказал удалиться всем, исключая престарелого Вианора, который при нем к остался.

Врач Сатир, получивший за посещение щедрую плату, поскакал в хутор, а печальные Астион, Эраст и Кронид, повеся головы, побрели в курень свой, близ атаманского дома устроенный, где они, с тремя прислуживавшими им казаками, все жили вместе. Кто ж такие, этот старик Вианор и эти трое молодых казаков, коих атаман отличал от прочих, имел к ним неизменную доверенность и обходился не как добрый начальник, но как самый ближний, нежный родственник, хотя они и сами не знали, кто такие были, откуда и каким роком в начале отрочества попались в Сечь Запорожскую? Это мы увидим впоследствии.

Под вечер они все трое получили повеление явиться к Авениру, которого и нашли гораздо в лучшем состоянии, нежели в каком оставили. Он сидел на постеле и в самом деле был бодр и весел, или только хотел таким казаться.

Комната освещается была слабым светом лампы, горевшей пред образом. Он указал пальцем на скамью, стоявшую в ногах постели, и они сели. Авенир стал подле них, опершись на столбик кроватный. Тогда Авенир, помолчав несколько, сказал: "Пора нам, друзья мои, короче между собою познакомиться. Хотя мы живем здесь около двадцати лет, но вы столько ж знаете меня, сколько один другого, сколько каждый знает самого себя, то есть несколько. Будьте внимательны к словам моим; они очень для вас важны."

Чтобы не расстраивать меня в сем болезненном состоянии, я требую, чтоб никто из вас не прерывал меня в повествовании, хотя бы некоторые обстоятельства сильно кого-нибудь из вас тронули. Слушайте.

Вы видите во мне единственного сына маркиза де Газара, богатейшего помещика в Лангедоке, но зато самого надменного, своенравного, непреклоннейшего из всей области.

Обыкновенно половину года проживали мы в Париже, а другую в деревне. Находясь в городе, я лаял был всегда то ученьем, то искусствами, то посещением домов, знакомых отцу моему, и время текло хотя единообразно, следственно - довольно скучно, однако сносно. До двадцатидвухлетнего возраста я не знал других чувствований, кроме страха к самовластному отцу, почтения к моему ментору и совершенного равнодушия ко всему, меня окружающему.

Мне сказывали, что мать моя была добрая, кроткая, снисходительная женщина, а потому я мог бы ощущать и четвертое чувствование - любовь ко всему изящному, но она умерла, когда я ничего еще не мог чувствовать.

В 1-й день апреля, в который исполнилось мне двадцать два года, я позван был в кабинет отца моего. Облобызав по обыкновению его руку, я равнодушно ожидал приказаний, мало заботясь об исполнении оных, ибо грозный, вечно недовольный взгляд отца мало-помалу произвел в сердце моем какое-то онемение, так что для меня все равно было слышать: "Леон! ты поступил в том и том очень разумно, я тобою очень доволен!" или: "Леон! ты сделал преглупый такой-то поступок, и маркиз Газар стыдится иметь тебя своим сыном!" или: "Леон! ты поступил в таком-то случае как настоящий мещанин! Если впредь также провинишься, то сошлю тебя в деревню и посажу в тюрьму на целые два года. Не забывай даже во сне, что ты теперь граф Бонвиль, а по кончине моей примешь на себя знаменитое имя маркиза Газара. Поди вон и целые два дня не смей показаться на глаза мои!" Я почтительно кланялся, уходил, и если бы он не призывал меня по прошествии сего срока, то я готов бы был не видеть его хоть двадцать лет. Может быть, вы, друзья мои, подумаете, что бог одарил меня тем правом, что я, смотря на предметы равнодушно, и в самом деле был бесчувствен? Совсем нет! Если можно иногда пылинку но подобию сравнивать с огромною горою, то я скажу, что сердце мое в тогдашних обстоятельствах подобилось горе Этне, покрытой снегом. Все на ней, по-видимому, покойно, но в недрах ее клубятся целые реки огненные, и как скоро прервут они оплоты, их удерживавшие, то какая сила человеческая остановит их порывы? Я сделал сие отступление нечаянно, по кстати. Теперь вы в начертанной мною картине видите отца моего и меня в настоящих видах.

Помнится, я остановился на том, что в день моего рождения потребован был к отцу. Он принял меня дружелюбнее обыкновенного, приказал сесть против себя и сказал:

"Леон! с сего часа ты перестаешь быть мальчиком и делаешься настоящим молодым человеком, который имеет право управлять своими поступками под надзором одного отца своего. Вчера еще, одарив щедро твоего ментора, я отпустил его; составил для тебя особый штат и назначил в доме особое отделение. Живи как хочешь; но отнюдь не забывай, что ты граф Бонвиль и по времени будешь маркизом Газаром. Каждый шаг твой будет мне известен, и если хотя одним недостойным словом или низким взором обеславишь высокое свое звание, то от одного мановения моего все величие твое улетит дымом на воздух, вся знаменитость лопнет, как мыльный пузырь. Через несколько дней мы едем в Лангедокский замок и пробудем там до осени. По возвращении в Париж я куплю тебе роту в котором-либо полку королевской гвардии или армейский полк, или камергерский чин, смотря по обстоятельствам; потом выберу тебе невесту, ибо у меня на примете есть две; ты женишься и будешь искать счастья или при дворе, или в поле. Это зависеть будет от выбора невесты".

Мы скоро прибыли в Лангедокский замок, и отец мой повестил о том соседнее дворянство заведенным порядком, т. е. приглашением на великолепный обед и просьбою, которая значила дозволение, посещать его во всякое время. Он и подлинно принимал всегда и всякого ласково, но никого не удостоивал взаимным посещением. Я занимался чтением, прогулками и охотой. Мне позволено даже было заходить иногда к кому-либо из дворян на завтрак и на обед.

"Граф! - говорил мне отец однажды, - что было бы непростительно для меня, за то свет с тебя не взыщет. Ты еще не самовластный господин и не составляешь собою члена в государственном теле. Когда же сделаешься маркизом Газаром, то непременно должен совершенно перемениться.

Смотри только внимательно на мое поведение и одного этого образца для тебя довольно".

В одно прекрасное утро, в средние мая, одевшись в охотничье платье, в сопровождении одной собаки вышел я из замка. Я не был страстным охотником, а потому мало заботился, что почти совсем не встречал дичи, а где и попадалась она, то я на воздух тратил заряды. С меня довольно было проходить прелестные поля, смеющиеся долины и привлекательные рощи, смотреть на все эти красоты природы, коими благое небо преимущественно одарило стороны полуденные. Идучи далее и далее, я наконец очутился в таких местах, где не бывал от роду. Новизна эта еще более меня пленила. Солнце было уже в полуденной точке.

Голод и жажда начали меня беспокоить. Не может быть, думал я, чтоб в такой восхитительной стороне не было ни одного помещичьего замка или по меньшей мере аренды.

Я бодро пошел далее, и, едва выбрался из тенистой липовой рощи, как в двухстах шагах представился мне небольшой, но красивый домик, а невдалеке деревня, прекрасно отстроенная. Я прислонился к дереву и размышлял: к кому мне пожаловать, к господину ли дома или к деревенскому старосте. Надумавшись, я сказал вслух: "На что беспокоить помещика и притом незнакомого? Не лучше ли отобедать в деревне за деньги, так еще доставлю тем выгоду какому-нибудь поселянину!" - Я сделал шаг вперед и остановился, услыша по правую

сторону голос: "Какие расчеты!" - Я оглядываюсь и вижу в пяти шагах от себя кавалера Ле-Льевра, человека пожилого, но самого забавного, шутливового.

Он часто посещал замок Газар, и мы давно обращались с ним на приятельской ноге. "Как? - вскричал я, подошел ближе и обнял его, - какими судьбами вас здесь вижу?" - "Я с большим правом могу вам сделать этот вопрос, - отвечал он, - ибо вижу вас от замка Газара за четыре добрые мили, а вы видите меня подле моей хижины. Вот она!"

Он, так сказать, потащил меня с собою; мы скоро вошли в гостиную, и я представлен был малочисленному семейству кавалера. Оно состояло из пожилой жены его, по виду женщины простой - во всем значении сего слова, молодого сына, служащего в армейском полку поручиком и обыкновенно во время отпусков проживавшего в отцовском доме, и дочери Юлии, прекрасной шестнадцатилетней девушки.

Обед был небогатый, но весьма довольный. По окончании оного Юлия повела нас в сад, показала цветник ее саженья, кусты розовые и яминные, за коими ходила; в беседке играла на лютне, пела прелестные романсы, словом обворожила всех и в особенности меня. "Несравненная девушка, - говорил я, едуци около полуночи домой на верховой лошади кавалера, - как прекрасно цветешь ты в единении!"

Какая из всех виденных мною красавиц парижских может сравниться с тобою в простоте, любезности, привлекательности?!"

Редкий проходил день, чтобы я не был в поместье ЛеЛьевра; не было минуты, чтобы не думал о его дочери, и в течение трех месяцев любовь моя взошла на высшую ступень. Юлия была чистосердечна, как аркадская пастушка, и в первые недели знакомства нашего, когда я осмелился объявить ей беспредельную страсть свою, она со всею свободою невинности открылась, что с первого на меня взгляда полюбила от всего сердца и ничего столько не желала, как принадлежать мне. Чего не доставало к моему благополучию? Ах! весьма многого. Как ни стремилось сердце мое открыться перед маркизом, сколько раз ни решался я при первом свидании объявить ему о своей страсти и умолять о согласии, но, увидевшись с ним, взглянув на гордую осанку, на свирепый или, по крайней мере, на туманный взор, я колебался, умолкал и приведение к концу своего намерения откладывал до другого времени.

В одно утро, узнав, что отец мой прогуливается в саду, я укрепился в сердце, нашел его и, несмотря на грозный взор, стал на колени и довольно твердым голосом сказал:

"Ваше превосходительство! (Я никогда не смел назвать его именем отца.) дозвоьте мне открыть пред вами сердце мое". - "Завтра! - отвечал он голосом пасмурным, - завтра я выслушаю тебя". - Он удалился, не удостоя меня дальнейшего объяснения. Боже! Что тогда чувствовал я в душе своей? Если законы природы неизменны, то почему одно лицо обязано любовью к другому, которое платит за то ненавистью? Тронутый таким хладнокровием отца, оставившего меня на коленах, не выслушав о причине такого унижения, я поклялся в душе моей - лучше погибнуть, чем оставить Юлию и жениться на невесте, которая мне предназначена будет упрямством гордого властелина.

На другой день, рано поутру, я получил повеление садиться в карету и ехать - куда повезут. Приготовив прощальное письмо к Юлии, в коем торжественно

обещал ей свою руку, я сел в карету вместе с моим камердинером, Клодием, росшим при мне с самой колыбели. Он был несколькими годами старше меня, и его преданность, расторопность, всегдашняя готовность к услугам сделали его для меня необходимым. Нетрудно будет вам отгадать, куда снаряжена была сия поездка. Мы прибыли в свой парижский дом, и прежняя несносная жизнь началась. Однако надобно отдать справедливость, что отец мой день ото дня становился ласковее, приветливее. Под конец осени я немало был удивлен появлением доброго Клодия с новою парюю блестящего мундира. "Поздравляю вас, - сказал он, - с королевскою милостью! Вы теперь полковник драгунского полка, расположенного недалеко от границ испанских. По воле его превосходительства, извольте одеться в это платье и явиться к нему".

С удовольствием принял я сей подарок (да и кого не прельстил бы он в мои лета?), поспешно оделся и полетел к отцу с благодарностью. "Граф! сказал он с возможною важностью, - теперешним счастьем своим обязан ты другу моему, Д*, а вскоре, надеюсь, ты будешь благодарить его за большой знак милости. Мы сегодня у него в доме обедаем".

У маршала Д* я никогда не был и даже мало знал его лично, а потому во время езды терпеливо слушал отцовские наставления, как должен я вести себя в присутствии его светлости. Прибыв в палаты сего вельможи, я нашел огромное, блистательное общество, был представлен хозяину и его семейству, и не прошло часа, как я возненавидел маршала за непомерную спесь и самохвальство его, ощутил презрение к жене его, истинной кокетке, и еще большее отвращение к тридцатилетней дочери их, столь же надменной, как отец, и такой же кокетке, как мать. За нею увивалось множество щеголей разного рода, и она смотрела на искательство их как королева, удостоившая кого-нибудь из подданных милостивого взгляда. По окончании великолепного обеда гостей ввели в огромную залу, где увидел я воздвигнутый жертвенник и подле него епископа в приличном облачении. Не понимаю, как это случилось, только я, ведомый отцом за руку, очутился у алтаря, и в ту же минуту явилась подле меня Аделаида, дочь маршала. Я остолбенел, оцепенел, окаменел и тогда только несколько опомнился, когда сперва епископ, а после отец мой, а там маршал и многие из гостей начали поздравлять меня с благополучным совершением вожделенного брака. Аделаида с великою важностью подала мне руку для поцелуя; но я чувствовал, что губы мои дрожали и были как ледяные. Зачем описывать окончание сего горестного дня? Увидясь один на один с отцом, я сказал: "Вы сделали меня на всю жизнь несчастным, но не думаю, чтоб от того сами были счастливее". Свирепый взор его был ответом.

Среди беспрестанных горестей, тоски, мучения прошло более полугода, и Аделаида уведомила меня о своей беременности. Я не знаю, как назвать тогдашнее чувство, какое ощутил я при сем известии. Это была смесь удовольствия, беспокойства, неприятности и досады. Однако с самого того времени я стал ласковее смотреть на жену свою, но вместе с тем заметил, что и она не менее ласково смотрит на статного, пригожего камергера Флизака, и надо отдать справедливость, что его геркулесова наружность была весьма оболстительна для всякой Омфалы. Открытие сие крайне меня осердило. Как, думал я, будучи страстно влюблен в Юлию, я не позволял себе даже и подумать о неверности, а ненавистная Аделаида - нет! Как скоро удостоверюсь в измене, то - погибель

преступникам неизбежная.

По кончине отца решил я оставить опротивевший Париж и отправился к полку, на границу Франции. Тем самым думал я избавиться присутствия опасного придворного, не навлекая на себя нарекания, неразлучного с названием ревнивца.

Первые месяцы пребывания моего в полку прошли довольно спокойно, или -по крайней мере - сносно. Аделаида родила сына, которого нарек я Леонардом. Хотя я, по смерти отца, сделался маркизом Газаром и обладал весьма большим имуществом, однако, несмотря на все убеждения моей маркизы, настоятельно требовал, чтобы она кормила дитя своею грудью, в противном же случае грозил отнять от нее навсегда сына. Это устрасило Аделаиду: она решилась преодолеть отвращение и сделаться кормилицею.

Это звание тем более пугает знатных женщин, что они в это время должны отказаться почти от всякого развлечения. Приятно ли в самом деле маркизе Газар, дочери маршала Франции, принять кого-либо из гостей, а тем менее побывать в каком-нибудь блестящем обществе с запачканным ребенком и позволять ему пред всеми играть полусокрытыми ее прелестями. Она часто задумывалась, просиживала долгое время, не произнеся ни слова, или уединялась в свою комнату, по нескольку часов проводила там, запершись с своею верною Перретою, которая некогда нянчила ее на руках своих и была доселе в неизменной доверенности. Такие поступки жены моей я причитывал скуке и казал вид, что ничего особенного не примечаю.

Наконец, по прошествии года после рождения моего сына, по совету медиков, мландец отнят от груди, и жена моя в первой раз приятно улыбнулась. Она с приметным удовольствием передала его с рук своих в руки няnek и мамок и с величавым видом ушла на свою половину. Такой поступок матери мне крайне не понравился, но мало ли что не нравилось мне со времени роковой женитьбы! Я нимало не думал возбранять Аделаиде в принятии гостей и в разъездах куда хочет; а она с своей стороны не считала за нужное просить от меня дозволения посмотреть на свет после годичного своего заключения.

Недель около двух после этого, в одно прекрасное майское утро, вошел ко мне честный Клодий с видом крайне пасмурным. Хотя со времени моей женитьбы я никогда не видывал его прямо веселым, но также он не бывал и печален. Посему с удивлением я спросил: "Что это значит, Клодий, что ты в весеннее утро, под полуденным небом Франции, смотришь, как в зимнюю пору камчадал, одержимый цинготною болезнью". - "Ваше превосходительство, - отвечал он со вздохом, - дай бог, чтоб мой вид обманул вас и чтоб мое подозрение было не вернее, как грезы страждущего горячкою". - "Однако говори скорее, - сказал я решительно, - какое подозрение? в чем? на кого?" - "Мне больно, отвечал Клодий, - сердце мое трепещет от ужаса, если я в доброе, невинное сердце ваше волюю полную чашу горести; но что ж мне делать? Когда я, будучи лет пятнадцати, а вам было с небольшим десять, важивал вас в садах Газарского замка, с того времени поклялся неизменно к вам верностью, хотя бы кто потребовал от меня измены с опасением потерять жизнь. Слушайте:

Вчера, иод вечер, зная, что за мною никакого не будет дела, пошел я в сад и, залегши в жасминных кустах у большой беседки, предался размышлению и неприметно задремал. Не знаю, долго ли я пробыл в сем положении, только

громкий смех разбудил меня, и я начал прислушиваться.

Вскоре различаю знакомой мужской голос, не могши припомнить, чей именно: "Ин прощай, верная Перрета! Вот тебе письмо и двадцать червонных. При первом удобном случае доставь письмо по принадлежности, а деньги возьми себе на башмаки. Будь уверена, моя дорогая, что услуга твоя забыта не будет, как и все прежние никогда не забывались". - "Простите, г-н Флизак, - отвечала Перрета, - и будьте уверены, что как прежде, так теперь и впредь я готова усердно служить благородным и благодарным людям.

Надеюсь, что если не сегодня, то наверно завтра вы на опыте узнаете, можно ли всегда полагаться на обещания Перреты".

Они расстались, я немного приподнялся и видел, что г-н Флизак, приближаясь к калитке у ограды сада, отпер ее (вероятно, поддельным ключом) и скрылся. Перрета хотя проворно пробиравась в дом, но была мною достигнута на самом крыльце. Слыша топот бегущего человека, она оглянулась и, увидев меня, несколько изменилась в лице и спросила: "Ты где был, Клодий? и куда так спешишь?" - "Прогуливался, - отвечал я простодушно, - в саду, вот там (указав в противную сторону той, где были камергер и Перрета); но, увидя издали, что ты бежишь в господский дом, почел, что маркиз меня, а маркиза тебя спрашивают, бросился со всех ног, чтоб опередить тебя и доказать, что я первому не менее предан, как ты последней". - Едва мы прошли коридором к парадному входу, как увидели, что карета маркизы быстро выезжала за ворота. Перрета показала недовольный вид и пошла на свою половину, а я от всего сердца радовался, что по крайней мере на сей день мой добрый господин избавлен будет от предательства.

Я пошел к крестовой сестре моей, Маше, которая выдана вами замуж за храброго Мартына, капрала полка вашего, упросил, чтоб она в сей же вечер назначила домашнюю вечеринку и самолично уговорила г-жу Перрету быть участницей в весельи. "Вот тебе на расход деньги, - сказал я, - но смотри, - никому ни слова". Как хотелось, так и сделалось. Я также присутствовал на этом пиру. Много было закусок, а вин и того больше. Когда готовились потчевать гостей шампанским, я, отведши Машу в другую комнату, сказал: "Налей для г-жи Перреты бокал побольше других и подай мне". Когда это было исполнено, то я всыпал туда заготовленный мною сонный порошок. Маша переменялась в лице и спросила: "Что это значит, братец?" - "Разве ты считаешь меня ядотворцем?" - отвечал я строгим голосом. - Кажется, ты давно знаешь крестового брата своего! Успокойся Маша! Этот порошок имеет силу, что тот, кто его выпьет, делается гораздо веселее обыкновенного. Поди к Перрете, проговори почтительную речь и поднеси бокал, а я с большим подносом подойду к прочим гостям". По желанию моему все исполнилось. Вскоре Перрета начала зевать, жмуриться и потягиваться. "Что за напасть, сказала она едва внятным голосом, - я, кажется, выпила не больше других а сон так и валит с ног. Г-н Клодий! потрудись проводить меня до коляски". "Г-жа Перрета! - Отвечал я с видом усердия - что хорошего, когда я привезу вас в дом маркиза спящею и должен буду до вашей спальни нести на руках! Еще не поздно, и нас увидят все челядинцы. Явный соблазн! Не лучше ли вам часа на два отохпуть на постели Машиной, а я даю честное слово дожидать вашего выхода". - Перрета лишилась употребления языка, сделала рукою знак согласия; я и Маша повели ее в спальню и уложили на постель. Тотчас начал я